

День шёл на убыль. На одной из стен палаты ещё плясали солнечные блики, но на кровати и тумбочки уже легли длинные предвечерние тени. И солнце, и тени одинаково раздражали. И я, по примеру своего соседа по палате, положил на лицо раздёрванный и зачитанный номер журнала «Смена».

Так, с журналом на горячем лице, лежал, молча перемалывая в голове хаотичные, бессвязные мысли, которые, как я думаю, роятся в мозгу или очень счастливого, или очень больного человека. Весь день у меня держалась высокая температура, и весь день мне в голову лезла какая-то мура – отрывки чьих-то рассказов, бессвязные воспоминания и даже сюжеты. Я несколько раз хватался за карандаш, лежавший на тумбочке, и тут же на журнале, только что укрывавшем лицо, принимался строчить белыми каракулями: «Вся боль на переносице сошлась, где сходятся и брови и морщины...»

Далее этого дело не пошло, и я только в нижнем углу журнального листа записал слова для рифмы: «в суровый час... и мужчины».

Потом по контурному портрету бородатого мужчины стал писать возможные заголовки будущих зарисовок или рассказов: «Палата номер тринадцать», на этот номер своего временного жилища я не мог не обратить внимания даже с температурой в сорок градусов. Я, разумеется, при входе в палату не стал плевать через левое плечо или хвататься за пуговицу пальто, но суеверная цифра застряла в моем воспалённом мозгу и выплеснулась наружу.

Далее следовали заголовки не «мудрее» первого: «Айболит из Богучан», «Веста – сестра милосердия». Вскоре весь журнал пестрел карандашными записями вдоль и поперёк, каждый клочок был забит до отказа словами, как следственный изолятор арестантами.

Я отложил журнал в сторону и тут только заметил, что в палате нет ни солнца, ни теней, а полноправно царят весёлые мартовские сумерки. Товарищ мой спал, неудобно держа правую руку над головой, не дотягиваясь расслабленными пальцами до журнала, который при каждом выдохе сползал с его лица на грудь. В этом зрелом мужчине было столько детского, что невольно хотелось встать и поправить сбившееся в ногах одеяло. К тому же время от времени мужчина тихо, почти беззвучно стонал или плакал, как плачут беззвучно во сне маленькие дети, когда после дневных впечатлений им привидится что-нибудь страшное. Матери в таком случае будят детей или переворачивают их на другой бок.

Мне же оставалось ждать пробуждения своего необычного соседа, чтобы полюбопытствовать, что такое ему привиделось, и кого он оплакивал во сне.

Проснулся я от прикосновения чьей-то руки к моему плечу. Надо мной склонился сосед: – Слышишь, брат, перевернись на другой бок, а то, сдаётся мне, что тебе кошмары снятся.

Я не сразу понял в чём дело:

– Какие кошмары?

– Стонал ты или плакал во сне.

– Вот те раз, – я хитро улыбнулся, глядя на своего соседа, – а Вы ведь тоже плакали во сне.

Сосед сел на свою кровать и, поморщившись, выпил горькое содержимое мензурок, поставленных медсестрой на тумбочку.

– Пей свои «сто» грамм, – пошутил он, – скоро ужин принесут – будем чаёвничать. Нам водички больше пить надо, с медком, смородиной – температуру выгонять.

При электрическом свете лицо его выглядело постаревшим. Суровее нависали кустистые брови, бросавшие тень на глаза, контрастнее выделялись упрямые складки в уголках рта. Но когда сосед улыбался, то глаза его светились детским озорством и чистотой.

За чаем мы познакомились ближе. Подкладывая мне в стакан гречишного мёда, сосед отрекомендовался:

– Меня зовут Вячеслав Чуйков.

Я хотел, было, спросить: «А по батюшке?», да вовремя сообразил, что это не совсем уместно... Если человек назвал только своё имя, значит, он желает, чтобы его называли только по имени.

Я назвал себя.

Перехватив мой любопытствующий взгляд, Вячеслав спросил:

– Пытаешься угадать, кто я такой?

Я поглядел на его начищенные до глянца форменные туфли и ответил:

– Не гадаю, а знаю, если хотите, насквозь вижу: Вы – лётчик...

Сосед первое мгновение удивился, потом тоже перевёл взгляд на туфли и задорно рассмеялся:

– Ну и разведчик! Молодец... Держи руку и больше не «выкай». Мы же не на службе.

Общий язык мы нашли быстро, без долгого прощупывания друг друга. Стоило нам заговорить, и через несколько минут мы были уже на короткой ноге – доверительными собеседниками, приятелями. Этот первый вечер нашего знакомства долго бередил мою память и, в конце концов, стал сюжетом этого невыдуманного рассказа.

После отбоя мне долго не спалось. Дежурная сестра погасила свет в палате. Но я ворочался с боку на бок, считал до ста, повторял мысленно одно и то же слово: «Спать, спать, спать...», но сон не шёл. Сосед мой не ворочался, но тоже не спал. Это я определил по тихим вздохам, что время от времени доносились с его кровати.

– Не спится, Вячеслав?

– Пытаюсь заснуть, – как-то вяло ответил Чуйков, – мысли, понимаешь ли, мешают.

– Какие?

– Да разные.

Сосед не хотел меня тревожить, надеялся, что я смогу уснуть.

– Мне тоже не спится. Всякая чепуха в голову лезет. Как в детстве коров пас. Гусиный ерик с мутной и тёплой водой, дубрава, луг, кузнечики стрекочут. Вода в зелёной ряске и коровы лениво лежат на берегу.

– Детские впечатления до креста.

Слова эти он произнес с затаённой болью, на глубоком, как стон, выдохе, не делая ударения ни на одном из слов и в тоже время тяжело роняя всю вторую часть предложения: «...до креста». А выходило по интонации так, что не до креста, а как тяжкий крест.

– Наша семья до войны в Сталинграде жила, – не поднимая головы с подушки, начал Вячеслав свой рассказ. Без лишних слов начал, как будто прокручивая в памяти давно известную ленту. – Хорошо жили. Отец служил во внутренних войсках, мать нашим воспитанием занималась – три мальчишки в семье, попробуй, сладь... Но жили дружно. Родители друг дружку любили. Отец и на службе преуспевал, и мать за ним никаких забот не знала – всё в дом доставал, всё сделать мог. Каждый день в доме – праздник, смех, песни. А потом – война...

Рассказывать про Сталинград во время войны не буду, это сегодня всякий школьник знает. Только с войной кончился праздник в нашей семье. Отец мог бы не воевать, всё-таки внутренние войска для других целей предназначены. Но он добровольно рапорт подал и вскоре уехал на фронт. Погиб в первый же месяц. Мне в ту пору пять лет было, старшему брату Ивану – девять, Мише – семь. А у матери никакой профессии. Замуж из-за школьной парты выскочила.

После «похоронки» на отца – мать, будто умом тронулась. Стала вещи свои на самогонку менять. Плачет и пьёт, пьёт и плачет. А напьётся, плясать начинает. Платок белый на плечи поверх фуфайки накинёт, туфли на каблуках наденет и идёт по комнате с притопом: «И пить будем, и плясать будем, а смерть придёт – помирать будем...».

Мы всем скопом за неё цепляемся: «Мамка, не надо». А она как завоет на всю округу: «Да куда ж мне с вами теперь деваться, как жить с таким наследством?»

Соседи её успокаивали, как могли, устроили работать на Сталинградский танковый завод. Нас подкармливали – когда пшена, когда картошки занесут...

Иван с Мишей ходили по дрова, воду носили, поддерживали огонь в печи. Иван кашеварил, нас кормил и маму поджидал. Она приходила поздно, безразлично ела пустую кашу или картошку в мундире и, скинув фуфайку и валенки, не раздеваясь, валилась в постель.

Так было до эвакуации из Сталинграда. Перевезли нас в Казахстан, в небольшой городишко Калмыков на реке Урал. Выделили крохотную комнатку в переполненном людьми бараке. Мать пристроилась в какой-то артели патронные ящики сколачивать. Артель – не завод, дисциплина не та, паёк не тот, люди разные собраны, не было между ними крепкой смычки, как у заводских. И мать опять пошатнулась, опять запила. Без того паёк скудный приносила, а после запоев совсем голодно стало.

Ты вот речку вспомнил, луг, коров, лениво в тени лежащих. А я даже не запомнил, была ли в том городе трава, гнездились ли там птицы, и показывалось ли солнце? Мне до сих пор кажется, что небо там было всегда свинцово-серым, земля мёрзлой, а дни тянулись бесконечно, потому, что всегда хотелось есть.

Острее всего помню кислый запах чёрного хлеба на отрубях. Я ежедневно ждал фургон у хлебного ларька. Нет, хлеба не просил, просил извозчика, чтобы он разрешил мне разгружать фургон, чтоб хотя бы нюхать, вдоволь нюхать кисловато-ситный запах чёрных, ноздреватых кирпичей.

Голос моего соседа звучал приглушённо, и я чувствовал, что каждое слово даётся ему с большим трудом. У меня тоже заволновалось и заныло сердце от нахлынувших чувств. Я остро, до щекотки в носу, почувствовал кислый запах хлеба. Да простит меня читатель за то, что, когда Вячеслав говорил о чёрных ноздреватых кирпичах, я видел бруски «Бородинского» хлеба в фирменной упаковке, чувствовал ржаную кислицу запаха и вкуса именно этого хлеба, потому что другого, к великому счастью, нашему поколению отведать не довелось.

– Я пролазил под телегой и между ногами людей, обступивших фургон, стараясь попасть к деревяшке протеза одноногого хлебовоза, – продолжил Вячеслав. – Чумазый и обтрёпанный, выныривал из-под телеги и, вскинув посиневшее от голода и стужи лицо, просил: «Дяденька, давай помогу хлеб носить».

Первый раз он с горькой усмешкой отстранил меня от возка: «У самого таких помощников семеро по лавкам скачут». В последующие дни несколько раз взывал к людям: «Граждане, чей пацан? Заберите пацана».

Но забирать меня было некому. Из нашей голодной, промёрзшей, пропахшей сивухой и парашей коморки убежал вначале Иван, оставив записку на столе: «Мамка, не ищи меня, пусть мою пайку Славик и Миша едят, обо мне не беспокойся». А месяц спустя и Миша утёк; вовсе без записки.

– Да что ж ты мне душу выматываешь, – не выдержал как-то хлебовоз, – неужели без тебя у меня горя мало? Иди к матери, пусть она тебя кормит. Мать-то есть?

– Есть, – ответил я и тут же расплакался.

Рядом соседка по бараку оказалась; прижала меня к подолу своей юбки, отломив кусок хлеба от завёрнутого в тряпицу пайка:

– В запое их мать, в запое, а дети голодают...

Позже эта женщина не раз подкармливала меня, да и одноногий хлебовоз тоже – то краюхой хлеба угощал, то куском сахара. Я только через много лет понял, какая это по тем временам великая щедрость была.

Сейчас, читая газеты, журналы, часто обращаю внимание на растущее с каждым годом число самоубийств. Люди отчаялись выбиться из беспросветной нужды, они не видят смысла в жизни, не имеют опоры и поддержки в обществе. Обществу нет до них никакого дела, а им до общества, как в песне из кинофильма «Последний дюйм»: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня?..»

А в далёком захолуственном городишке Калмыкове усталые, полуголодные, незнакомые люди согревали меня у своего очага, кормили, отрывая кусок от своего скудного пайка, старались вернуть к нормальной жизни мою мать, мою отчаявшуюся, безвольную мать, потерявшую над собой всякий контроль. Она даже побега старших сыновей не обнаружила. А когда много позже прочла Иванову записку, то даже не заплакала над ней. Наверное, она была уверена, что наша страна, наше общество не даст сыновьям пропасть.

После освобождения Сталинграда мы вернулись домой. Квартира наша уцелела, но вместо трёх довоенных комнат нам отвели одну, а в двух других поселили семью многодетного бригадира строителей – дяди Коли со всеми его родственниками. Дядя Коля помог моей матери устроиться работать на стройку, а потом через него она познакомилась с Кузьмичом.

Постепенно её душа стала оттаивать, и в семье наступило относительное благополучие. Её рабочего пайка нам на двоих хватало. К тому же частенько стал навещать Кузьмич. Он, как мастер – золотые руки, судя по рассказам дяди Коли, зарабатывал прилично. И у нас стали появляться банки с рыбными и мясными консервами, сало, лук. Мне мало что из этого набора попадало, но всё-таки было легче.

Я пошёл в школу. Впервые увидел птиц, облака, деревья. Впервые узнал, что можно дружить, ссориться, мириться с одноклассниками. Впервые понял, что могут быть другие интересы, кроме одной, преследовавшей меня раньше, заботы – найти пропитание.

Моя тридцатилетняя мать пыталась найти себе новую опору в жизни. Она, как повилка, не могла жить самостоятельно. Встретив Кузьмича на своём жизненном пути, она уже не отлипала от него, днём и ночью увивалась за ним повсюду, абсолютно забыв о моём существовании. Мне, как и в Калмыкове, нередко случалось провести весь день без макового зёрнышка во рту и засыпать на подушке, мокрой от слёз.

Кузьмич обращался со мной вполне пристойно, но я ненавидел его уже только за то, что он увёл мать с собой в неизвестные мне места, неизвестно на какое время и зачем? Мне казалось, что все беды от него. И поэтому однажды, в порыве детской безудержной ревности и обиды, я заявил матери: «Или – я, или – Кузьмич!».

Чуйков налил в стакан воды из графина, стоявшего на тумбочке, размешал в стакане ложку мёда и выпил.

– Хочешь воды с мёдом?

Я отрицательно мотнул головой.

Вячеслав взбил подушку и, опершись на неё спиной, полусидя, прилёг на постели, скрестив большие смуглые руки на груди.

– Мать жестоко избивала меня, обругала последними словами и без пальто и шапки вытолкнула на лестничную площадку.

Отчаянью моему не было предела. Я осознал всем детским чутьём и всей, горящей от побоев кожей, что со мной никто не собирается считаться, что я никому не нужен.

Все дети, особенно в раннем детстве, эгоисты. Для них самая большая трагедия – невнимание со стороны родителей.

Вначале я закатил дикую истерику: колотил ногами в закрывшуюся за моей спиной дверь, истошно кричал до хрипоты, слёзы обжигали мое лицо. Я взывал к сердцу матери. В тот момент она была для меня ещё матерью, женщиной, родившей и воспитавшей меня. Я даже чувствовал себя виноватым перед ней за столь категоричное заявление. Плакал и просил: «Мамочка, прости меня, я больше никогда не буду так говорить. Мамочка, прости меня ... мамочка,пусти меня домой, мне холодно».

Но никто не отвечал из-за двери ни тогда, когда я кричал, ни тогда, когда, молча сидел на сквозняке, обхватив руками свои озябшие худые коленки.

«Мама не любит меня», – редкий ребёнок способен произнести такие слова – они, как кошунство над великой силой материнской любви. Но я сказал себе такие слова, сказал их не вслух, подумал так, и стал медленно спускаться вниз по лестнице.

В подвале согнал кошку со старой изодранной фуфайки и, натянув на себя лохмотья, достойные огородного пугала, побрёл в сторону железной дороги.

Ещё возле дверей нашей квартиры у меня созрело решение ехать в Смоленск, к брату отца – дяде

Семёну. У меня не было ни денег, ни... адреса дяди, ни понятия, каким образом, и в какую сторону надо ехать, чтобы попасть в Смоленск.

Я шёл по бесконечному коридору из грузовых вагонов. Пролазил под составами и вновь попадал в такой же точно коридор.

Когда пролазил под очередным вагоном, поезд тронулся. Боясь попасть под колеса, я схватился за какую-то трубу и, в страхе, ничего не соображая, поволочился за вагоном. К счастью, рядом находился какой-то длинный замасленный ящик. С трудом мне удалось забраться в него. Ящик насквозь продувало колючим мартовским ветром, но я ехал, я лежал, натянув на голову ветхое решето фуфайки, и у меня под ухом колеса громко отстукивали неизвестную, пугающую и зовущую, дорожную мелодию.

Окоченевшего, едва живого, меня обнаружили обходчики на станции Сальск. Три месяца лечили в городской больнице от воспаления лёгких и дистрофии, а потом отвезли в местный детдом.

Потом было техническое училище, работа на заводе, армия, авиационное училище, летал больше десяти лет и вот уж который год обеспечиваю полеты ...

«А как же братья, мать, ты так и не видел их больше?» – хотелось спросить, но я почему-то не решился, надеясь, что Вячеслав сам продолжит рассказ.

Мой сосед надел пижаму, обул свои форменные туфли и подошёл к окну, за которым бледной каёмкой занимался рассвет.

– Светает уже, а мы с тобой глаз не сомкнули. Надо же, до чего я человека заговорил ... Опять март за окном, как тогда, в пору моего изгнания.

Он открыл форточку:

– Весной пахнет. Весной стараюсь в зеркало не смотреть, в детские игры с ребятнёй играю, и мне кажется, что в эти месяцы я молодею.

Я вспомнил задорный блеск его по-детски чистых глаз и представил, как Вячеслав гоняет с мальчишками футбольный мяч, сражается за шахматной доской. Он заново переживает своё детство, он взрослый ребёнок. А многим ли из нас дан этот великий дар – до солидных лет оставаться молодым?!

– Мать я видел ещё раз, – будто спохватившись, произнёс Вячеслав. – После войны в наш детдом один искатель приключений попал. Потёрся некоторое время, да и признался, что у него в Сталинграде родители живут в полном здравии и достатке. Когда воспитательница собралась везти его домой, я тоже сообщил, что и у меня мать в Сталинграде. Страстно захотелось навестить её. Воспитательница не очень поверила, но всё же взяла меня с собой.

С большим трудом отыскал знакомую улицу и дом. Зашли в квартиру. Мать на кухне пирожки стряпала, Кузьмич часы чинил.

– Здравствуйте, – говорим в один голос с воспитательницей.

Кузьмич от удивления даже привстал с табуретки, а мать, как стояла у примуса, так и осталась стоять, только голову в нашу сторону повернула:

– Здравствуйте.

Воспитательница покраснела от неловкости и затянувшейся паузы:

– Вот сына вашего из детдома привезла. Вначале говорил, что нет у него никого из родных, а потом сознался, что мать в Сталинграде живёт ...

– Нет у меня никакого сына, и не было никогда.

Меня от этих слов зашатало и, чтобы не упасть, я схватился за дверной косяк:

– Мама, это же я – Славка!

Кузьмич тихо выругался и говорит:

– Ты что же такое удумала, Полина? Ты почему от дитя родного отказываешься, или очи у тебя застило?..

Тут она перетрухнула.

– Не признала, – говорит, – вытянулся он, в лице изменился, теперь по глазам вижу – точно Славка. Объявился-таки?

Посидели мы за семейным столом, чайку попили, поговорили кое о чём, да и стали с Анной Александровной в обратную дорогу собираться. Воспитательница поняла, что лишний я в этой семье, потому и не настаивала, чтобы оставался, когда мать ровным голосом обронила:

– Обрато что ли поедешь? А то оставался бы.

– Друзья у меня там, я без них не могу, да и привык уже в детдоме.

С тех пор я больше мать не видел. Обмениваемся изредка поздравительными открытками к праздникам. Несколько раз она в гости приехать приглашала. Да всё как-то недосуг.

Братьев я лет через десять разыскал. Иван тогда на буксирный катер прибился. Капитан его усыновил. Теперь Иван живет в Астрахани, ходит капитаном пассажирского теплохода по Волге.

Михаил в Саратовском университете преподает.

Все, как говорится, в люди вышли, своё гнездо свили. Живём хорошо, встречаемся друг с другом, переписываемся, в общем, всё, как и должно быть у родных братьев.

Несколько лет назад умер Кузьмич. На похороны меня никто не приглашал, собственно я узнал об этом событии из единственного за все годы письма матери. Смысл его был примерно таков: «Дорогой сыночек Славочка! После смерти Ивана Кузьмича я осталась почти без средств к существованию. Моя мизерная пенсия не позволяет мне жить по-человечески. И это на старости лет и имея троих сыновей. Я надеюсь, что ты сжалишься над старой и больной матерью и, если не заберёшь меня к себе, то хоть часть своей зарплаты будешь высылать ежемесячно. Думаю, что тебя это особо не затруднит, как и братьев твоих Ивана и Михаила. Не затевать же мне суд против вас, чтобы отсудить полагающиеся по закону алименты». Вот и вся история, брат.

Уже совсем рассвело. Чуйков сидел на кровати, откинувшись на подушку, прикрыв одеялом спущенные на коврик ноги. Лицо его побледнело в утреннем молочном свете и казалось, что на нём застыла печать нестареющей боли.

